

Недавно в Барселоне вышла вторым изданием книга известного испанского поэта, коммуниста, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Рафаэля Альберти, которая называется «Восемь имен Пикассо».

В ней собраны стихи, посвященные великому испанскому художнику Пабло Пикассо, а также воспоминания о нем, написанные в прозе. Первая часть воспоминаний — «Встречи с Пикассо» (1969—1972) — была написана во время пребывания поэта на юге Франции, в небольшом городке Антибе, неподалеку от которого, в местечке Мужен, жил Пикассо. «Литературная Россия» предлагает читателям с некоторыми сокращениями эти воспоминания, которые в нашей печати публикуются впервые.

Рафаэль АЛЬБЕРТИ

Встречи с ПИКАССО

МЫ ЖИВЕМ всего в нескольких километрах от Мужена, то есть рядом с Пикассо. Мы временно обосновались здесь, в этих местах, только ради того, чтобы видеть его; мне лично необходимо закончить книгу стихов, посвященных ему. Я сказал «чтобы видеть его!» Трудная задача, настоящая Голгофа! Чистой воды иллюзия. Моя дочь Аитана, лучшая подруга нас обоих, звонит по телефону Жаклине.

— Очень рада, что позвонила. Да. Ну ты сама знаешь. Позвони попозже. В шесть.

Аитана звонит в указанное время. — Хорошо. Да. Ну ты сама знаешь. Пабло в дурном настроении. Аитана звонит снова.

— Пабло не хочет никого видеть. Ты же его знаешь. Во всяком случае попозже вечером, попозже...

Так проходит шестнадцать дней. Если подняться на холм, то виден дом Пикассо. Однако еще не вечер.

Аитана снова звонит Жаклине. Наконец-то мы увидимся!

— Пабло в прекрасном расположении духа, — сообщает она нам.

Полпятого утра. Я не сплю с двух часов. Читаю, как всегда, несколько книг сразу. Среди них — «Жить с Пикассо» Франсуазы Жило. Книга, бесспорно, неприятная для Пабло, но, к его несчастью, именно ее читают и будут читать больше, чем любую другую. «Альковные тайны», перепады настроения, если не сказать — его бешенство, привлекают значительно больше внимания, чем какой-то длинный приличный очерк Териате, Купера, Сервоа, как и пустые словеса, расточаемые тысячами низких льстецов в адрес «великого чудовища». Но это не смягчает того приговора, что книга Жило — один из самых грязных пасквилей, связанных с жизнью Пикассо.

Какую скуку наводит море, если смотреть на него каждый день с террасы дома. Разве не устаешь рассматривать часами вытканый шелком ковер, гладкий-гладкий, на котором нет никакого сбоя — другого цвета, рисунка? Может, поглупело море, может, у него приступ паралича? Пошевелись немного, человек, сломай себе хоть одно ребро, бросившись на послушный телу песок, и узнай, живешь ли еще!

*Сонная женщина
Утром бросила море на песок;
Давно тобой созданная под волнами —
Не похожа ни на кого,
Лишь на саму себя.
Море смотрит на нее,
Оно молчит;
Но знает ли оно, что ты изобретаешь?*

Ни небо, ни море не желают здесь обходиться ни дня без солнца. И солнце, отлично это зная, всегда появляется вновь, спрятавшись лишь на короткое время.

Наконец-то увиделись с Пикассо. Я сказал ему, что живу в Антибе, в долине, рядом с крепостным валом, который прилепился почти к стене его музея. — Ночью можешь сломать слуховое окошко, проникнуть в здание и стащить какую-нибудь картину.

— Было бы проще, — замечаю я, — если ты подаришь мне одну сейчас же.

Какое-то красное существо, разбегающаяся волнами яркая вспышка света, раздуваемая ветром, появляется в море. Кардинал в капюшоне, обвятый огнем. Войдя в бухту, убирает белый парус, а затем мачту, высоко нацеленную с вечера на первую звезду.

Говорю Пикассо:

— Ты все еще директор музея Прадо,

а поэтому, насколько я тебя знаю, тебе никогда не сообщат о твоём увольнении. — Да, — отвечает он. — Мне хотелось бы разок съездить туда и отвезти эти фантастические слепки с картин. Остальное меня не волнует. Пусть остается здесь.

Ты слышишь музыку?

*Геометрией становится гитара,
Мандолина, скрипка с флейтой —
Ты расчленил их, чтобы видеть лучше
Все облики чудесных звуков.*

*Кубки,
Бутылки,
Столы,
Листья табака,
Газеты,
Балконы,
Звездное небо —
Расчлененные, запел:
Нарисовал ту музыку,*

которую видишь...

Пикассо показывает мне свои последние рисунки: два громадных бюбара, набитых до отказа. Это в основном обнаженные фигуры с совершеннейшими линиями... Некоторые из них просто страшны — кричащие о его ненасытном голоде к жизни, к тому огню, который, как он иногда чувствует, убывает и который он хочет поддержать в себе в критический момент. Неистовое изображение голов, лиц, целующихся с каким-то бешенством... И вдруг в своем великом восхищении чувствую тонкую грусть.

*Голод к жизни, глодающий голод
К жизни, к минуте, точной секунде,
Набегающим в плотные часы,
Наполненным до краев страстями,*

страхом,

*Которые переживает век,
Перевалив за пик столетия.
Послушай, весь мир внимает
Времени, оплодотворяющему кровь,
Разбрызганную взрывом красок, линий,*

слов,

*Звучащих сегодня так,
Как будут звучать вечно.*

Пикассо говорит мне:

— Когда я был мальчишкой, совсем еще ребенком, Каранча — ты знаешь, каким великим тореро он был, — часто приходил к нам в дом, так как дружил с отцом, и часто сажал меня к себе на колени.

Он рассказывает об этом улыбаясь, с явной ребячьей гордостью.

В эти дни наших встреч с Пикассо, во время долгих бесед, как всегда, сумасбродных и растрепанных, часто слышу, как он повторяет почти с маниакальным упорством: «А все потому, что мы — андалузцы»...

...Все твои байки, истории, которые ты мне рассказываешь, я тоже знаю. Одно и то же... все потому, что мы — андалузцы. Как же мне не помнить Малагу, если я прожил там десять лет своей жизни? И ты будешь мне рассказывать, что выходил против быков с другими мальчишками; то же делал и я, а все потому, что в Андалузии все от рождения «торерос».

ПИКАССО прожил в Андалузии почти десять лет. Я — чуть больше четырнадцати. Он туда не возвращался. А я там бывал и после много раз, но все поездки были очень короткими. Всей своей ясностью, безумием, изысканством, страстью, яростью, своенравием и острыми шутками он обязан своему детству, проведенному в Малаге, и я об этом говорил неоднократно. Как и я — заранее прошу прощения за сопоставление себя с ним — обязан морю в Кадисе всей сущностью своей поэзии.

И в профиль, и анфас одновременно —



*Порой глаза сверкают на затылке, —
Ты видишь все;
Кому ж укрыться от взгляда твоего,
Свирепый, всепожирающий,
всенеенасытный*

Аргус?

Я видел, как взвился однажды Пикассо, когда его кто-то спросил, не каталонец ли он.

— Каталонец? Я — из Малаги. Из-за того, что я прожил несколько лет в Ла Корунье, я слышал, как меня называют галисийцем.

Пикассо говорит по-французски так, как я по-китайски. Он взял от Парижа значительно меньше, чем французы и все прочие взяли от него.

Я заметил, что во время моих визитов, если к нему заходил какой-то француз или вообще какой-то иностранец, то он довольствуется разговором только на испанском, к великому огорчению тех, кто его не понимает.

Пикассо носится по своим мастерским в «Нотр-Дам-де Ви» (название дома Пикассо. — Прим. пер.), как разъяренный бык. С холма Мужен до самой Антибы доносится его раскатистое рычание.

Я спрашиваю, что делает сейчас

Сей бык в своем загоне?

Ревет: я слышу 87 воплей —

Один на каждый год

Его загонной жизни.

Я спрашиваю, где же найти

87 торерадоров,

Могущих вступить с ним в схватку?

Да кто осмелится пойти на

Этого быка?

Проведя несколько дней в Риме и Милане, возвращаясь в Антибу. Голуби возле музея Пикассо узнают нас. Они хотят есть. Завидев нас поутру, все они, срываясь с башен и бойниц замка, устремляются к нам. Полное разочарование. Мы еще не были в магазине. До возвращения с рынка им ничего не перепадет. Они волнуются. Почти сердиты. Пикассо, которому они так послужили в качестве модели, мог бы назначить им небольшую пенсию: ежедневную миску риса или кукурузных зерен. Это они любят больше всего.

*(...и голуби Пикассо,
Умирая с голодухи
На крепостном валу,
Просят по утрам у меня кроха
На завтрак...)*

*Из голубей одна голубка —
символ мира*

*Кружится вокруг солнца,
В такт с землей...
Летит одна, хозяйка покинув,
Всегда наперекор угрозе.
Вернется ли к своим, на голубятню,
Которую оставила однажды?*

Вновь звоню Пабло по телефону. То есть Жаклине. Этим всегда занимается Аитана. Задача по плечу только героине. Не потому, что Пабло не хочет нас видеть. Мне кажется, что только с нами он по-настоящему отдыхает, развлекается. Но преодолеть стену, отделяющую его от телефона, не так-то просто. Кухарка, шофер, секретарь подчиняются строгому приказу, который непреклонен для всех. «Госпожа не может подойти к телефону», «Госпожи нет дома». Но да-

же если «госпожа» подходит к телефону, начинается обычная сцена:

— Но ты же знаешь. Пабло еще не сходил вниз из мастерской.

Или же:

— Он в дурном настроении. Позвони попозже. Вечерком.

— Позвони утром.

Утром назавтра:

— Позвони вечером...

Так может пройти неделя, две, три, месяца... И вдруг неожиданно словно открывается загон для быков, и вот Пабло, который, вероятно, и понятия не имел, что мы хотели его видеть все это время, предстает перед нами, как бык; и вот посыпались шутки, он с радостью показывает свои последние работы, тысячи совсем еще недавних рисунков — великолепие, чудо, гений!

— Пабло, пришло время возвращаться в Рим. Пока.

— Но теперь, когда у тебя здесь свой дом, — отвечает он, — ты, конечно, вернешься в Антибу. И мы увидимся.

— Я прожил рядом с твоим домом пять месяцев, — говорю я, — и не видел тебя больше трех раз в месяц.

— Да, это правда. Ничего не поделаешь. Неважно. Возвращайся, и мы увидимся.

— Конечно, увидимся.

Я крепко его обнимаю.

Вот стою на холме и вниз гляжу,

Вижу зелень ста цветов,

Деревья, реку, поля, огороды,

А ты там, на другом холме,

На очень одиноком.

Глядишь на зелень ста цветов

И море внизу.

Хочу сказать:

«Прощай!» я в этот вечер
Тебе и приглашенным краскам.

В

СВЯЗИ с выходом в Испании моих книг «Восемь имен Пикассо» (речь идет о первом издании. — Прим. пер.) и «Не говори больше того, что не сказал» один мой приятель — писатель — задал мне несколько вопросов. Они перед вами.

— Пикассо — это друг, с которым трудно?

— С Пикассо ни трудно, ни легко. Он живет под аккомпанемент тысячи ежедневных звонков со всего света; сотни людей приходят к воротам «Нотр-Дам-де Ви», его дома на холме Мужен, страстно желая увидеть его, услышать хотя бы одно его слово. Приходят всякие — тут и умницы, и глупцы со всех краев, увешанные фотоаппаратами, со своим глазом наготове, чтобы запечатлеть самое оригинальное «чудище» из зоологического вольера XX века (даже сто Брижит Бардо с сотней Софи Лорен вместе не могли бы тягаться по числу фотоснимков с Пикассо за последнее время!). Пикассо уже перевалило за девяносто, а работает он, как двадцатилетний юноша. У него нет ни времени, ни возможности всех принять. И, конечно, когда он находит какую-то лазейку, какую-то щель, чтобы вечером открыть дверь перед некоторыми «счастливыми» либо на всю жизнь, либо на мгновение, то он отнюдь не динозавр, он — менее всех динозавр из всех динозавров на свете; очаровательный, прекраснотелый человек, любитель поразвлекаться, человек, отмеченный пикантностью и благодатью своего детства, проведенного в Малаге. И тогда он готов даже спеть старинные андалузские песенки торерос, как я сам это неоднократно слышал.

Когда я однажды сказал, что «Пикассо оскорбляет, но чем больше он это делает, тем больше становится число его почитателей», то относил свои слова только к его живописи, которую начинала с картины «Девушки с улицы Авиньон» рассматривали как оскорбление, как что-то непостижимое; но это — искусство, искусство наперекор всем бурям и ветрам, оно сумело проложить себе дорогу, и у него сегодня несравненно больше почитателей, чем хулителей.

— Что ты увидел в глазах этого «чудища», если иметь в виду твое стихотворение «Глаза Пикассо»?

— Еще когда Пикассо был ребенком, его глаза привлекали всеобщее внимание. С того момента, когда пошла слава его как художника, разговор на эту тему стал чем-то обязательным. И это вполне естественно, ибо редкий человек не поддается очарованию почти невыносимой неподвижности его зрачков. Это очень странно. Даже необычное, сверлящее проникновение глаз филина не может сравниться с ним. Что же еще желать художнику? Я даже считаю, что во всей истории живописи не было жи-

вописца с подобными глазами. Что только не говорили о них! И я, замечу без ложной скромности, — больше других. «Глаза Пикассо» — это стихотворение, в основе которого лежит рукописный вариант, изготовленный мной в двадцати экземплярах с собственными иллюстрациями, с рисунками в красках и офортами. Я собирался даже опубликовать их, если бы не опасался, что Пикассо меня за это прикончит. Триста с лишним лет назад Гонгора мог бы посвятить ему свои стихи, которые начинаются так: «Убивают меня глаза этого андалуза» (Гонгора-и-Арготе, испанский поэт 1561—1627. Многие специалисты считают его «испанским Гомером»). — Прим. пер.)

Хищничьи глаза —

Пронзительные,

Смертельные,

Убийственные.

Глаза — две пуповины.

Глаза — катаклизмы,

Озноб,

Землетрясение,

Моретрясение,

Пучина,

Цветок...

Глаза быка — голубые,

Глаза быка — черные,

Глаза быка — красные,

Глаза...

Вся любовь ради этих глаз,

Все небеса ради этих глаз,

Все моря ради этих глаз,

Вся вечность ради этих глаз...

— Расскажи мне что-нибудь о том, что хотел рассказать в своей книге «Восемь имен Пикассо»?

— Должен сказать, что в ней я хотел выразить все то, что испытываю по отношению к Пикассо с самого своего детства и что не мог выразить до сих пор, если бы не провел несколько зим в Антибе, неподалеку от холма Мужен, где он поселился после Валлоры.

Пикассо всегда был художником поэтов и на всех этапах был рядом с ними; достаточно вспомнить Макса Жакоба, Аполлинера, Пьера Reverdi, Жака Превера, Поля Элюара... Все они сумели что-то почерпнуть из этой великой реки с постоянным, сильным течением — Пикассо: может, волну, солнечный блик, рыбку, птичку, звезду, упавшую на дно... Мне, кто пришел последним, повезло, и я собрал наибольшим и счастливейшим улов. Мне удалось приблизиться к этой реке в тот момент, когда в ней было изобилие вод. Все, что мне дала эта река, все, что мне удалось в ней выловить и вытащить на берег, несмотря на головокружительное течение, все заключено в этой книге, которая могла и не иметь конца.

— Как бы ты определил гений Пикассо?

— Определить гений Пикассо и Пикассо — человека в конечном счете одно и то же. Я приведу тебе несколько определений, которые я вкладываю в уста мифических персонажей, населяющих папский замок в Авиньоне. Они взяты из моего вступления к книге, издаваемой «Эдисон Серкль д'Ар» (речь идет о вступлении, написанном Альберти к книге, посвященной большой выставке работ Пикассо, состоявшейся с 1 мая по 30 сентября 1970 г. в рамках XXIV Авиньонского фестиваля искусств. — Прим. пер.)

Пикассо — это человек с неукротимым желанием сохранить острое чутье и, когда наступит день, предстать перед дверьми неба или ада, менее всего думая о них, и сыграть на них великолепную токату.

Пикассо — это сейсмическое волнение, эпицентр которого находится в пальцах его рук.

Пикассо — это тот немой, который изобрел первое слово.

Пикассо — это самый свирепый человек, способный проглотить розу.

Пикассо — это человек-глубина, растекаться при свете тысячами глаз, которые он нарисовал.

Его гений — это гений испанского народа, способный на самые яркие, неистовые вспышки. Бомбардировка его быка в Гернике всегда стучит в его сердце.

— Опиши мне немного «Нотр-Дам-де Ви», тот дом, в котором он живет в Мужене.

— «Нотр-Дам-де Ви» — это вилла Жаклин и Пикассо, расположенная на холме Мужен, на котором среди других деревьев встречаются и оливковые. Если приходишь сюда, то нужно ожидать пару часов перед решеткой, которую ни за что не преодолеть, если семья Пикассо не была заранее, задолго до это-

го, предупреждена о визите и не выражала своего согласия тебя принять. Если приедешь туда случайно, без предупреждения, то наткнешься на обычное — «сеньор занят», «сеньор у дантиста», и посетителю ничего не остается, как поскорее убраться оттуда восвояси. Но тот, кому посчастливилось туда войти, прежде всего столкнется с афганской овчаркой, собакой геральдической и замечательной, которую немедленно тщательно запирают, так как ее никак не назовешь приятельницей визитеров.

Многие из тех, кто, наконец, добивается до Пикассо, не имеют обыкновения выходить из небольшой комнатки, где посетитель садится за небольшим столом и начинает беседу; как обычно, когда пробьет пять часов, то гостю предложат большую чашку чая, которому хозяин разрешает спокойно остыть на столе. Иногда в этой «приемной» просто негде сесть, так как здесь полно бюваров с рисунками, книг, разбросанных на единственной кушетке, есть большая клетка с голубем, много различных предметов, в основном подарков, на стенах — его старые, широко известные полотна, приятный беспорядок в ограниченном пространстве, которое может еще больше сократиться, если Пабло в ударе и принимается вытаскивать из бюваров и папок свои последние рисунки и офорты. В другие помещения в доме вступают далеко не все. И если это кому-то удавалось, как, например, это неоднократно случалось со мной, то из-за огромного количества всевозможных вещей в комнатах складывается впечатление, что дом принадлежит семье, которая либо только что сюда въехала, либо вот-вот съезжает.

— Чем занимается Пикассо в течение дня? Сколько часов он рисует?

— Пикассо рисует с рождения. Сколько часов? Столько, сколько их насчитывается у него в жизни. А жизнь его — это девяносто лет. Пройдет наш век, начнется третье тысячелетие, а Пикассо все будет продолжать плавание по огромному морю своей палитры со своими кистями, подобными мачтам корабля, который никогда не зайдет в порт.

К

АНН. 16 января 1972... Испытываю глубокую тревогу, так как, вряд ли, появится возможность повидеться с ним. А тут еще дождь зарядил на четыре дня. И море как большая свинцовая пластина. Уже трижды звонил ему. Утром, днем, последний раз вечером. Не примет? Не знаю почему, но именно так происходит всегда. Что-то происходит. Но что? После этих разбитых в Мадриде витрин, где был выставлен его портрет... После нападения на выставку, где сожгли больше двадцати его рисунков... После дебоша, устроенного в одной из его первых мастерских в Барселоне... После чудовищных оскорблений в испанских газетах... Конечно, все же ему больно, хотя он не хочет говорить об этом. Он не может не думать об этом. Там, в Барселоне, его большой музей, который он подарил городу; правда, его до сих пор не тронули...

Но кто может дать гарантию, что безопасность может существовать там, где орудует так называемое «воинство Христа», эти поощряемые властями вооруженные молодчики, которые могут проникнуть куда угодно и не оставить там камня на камне? Не знаю.

В эти дни он по горло сыт комментариями тех, кто об этом знает, телефонными звонками, телеграммами солидарности и протеста.

Полпротеста. Смотрим какой-то фильм, бессмысленный гротеск, рассказывающий о событиях в Испании во времена какого-то Филиппа... Испанские улыбки, а не слезы, как это происходит сегодня.

Завтра в четвертый раз позвоню Пикассо, который сегодня, я уверен, впервые в жизни настроен на слезы...

Море, поглупевшая бездна,
Не скрывает удивления на рождество.
В Антибе рождество. 24.12.72.
А Пикассо в Мужене со всей Испанией,
С кровью ее, текущей в венах.
Ржет изумленный конь,
Кричит, что никогда
Навыорот не видел нервы, глаза
И шею, проступающую сквозь пасть.
Свечи довольно, чтобы увидеть,
Что гнев, бессилье, отчаяние, ярость,
Боль, агония подернуты серо-белой
грустью.
Таким я видел это. Я говорю с тех пор,
Что для него война — это Герника.

С испанского.
Перевод Л. КАНЕВСКОГО